

Книгу «Писатель Сталин» уже опубликовал Михаил Вайскопф, мы же поговорим о писателе Ленине.

Постсоветская лениниана гораздо скудней сталинианы (ровно как с 1929 по 1953; с 1956 до 1985 по понятным причинам было наоборот). Известное дело, писать о Сталине — будь то апологетика, филиппика или хроника, — гораздо увлекательней и в каком-то смысле проще: масштаб проблем меньше. Одни полагают, что тирания благотворна, другие считают ее омерзительной, третьим просто нравится описывать пытки и страхи, — но тирания уже бывала в истории, с ней все понятно. Сложнее с Лениным, поскольку фигуры, сопоставимой с ним по масштабу, в восьмидесятые-девяностые так и не появилось; вообще неясно, что это было такое. Сам он на вопрос о роли занятий отвечал «литератор» — и в этом был прав безусловно. «Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе», — писал о нем Горький; Ленин со словами, а не с людьми, провел большую часть жизни. В сущности, он только и делал, что писал, причем в разных жанрах — прокламации, газетные статьи, теоретические работы, литературную критику, полемику, декреты, записки на заседаниях, пустословных и всегда его бесивших; ничего, кроме этих слов, и не было. Сам не расстреливал, хотя и давал подобные рекомендации, а то и приказы, — потому, вероятно, что с живыми людьми дела не имел и искренне полагал, что человека расстрелять не трудней, чем зачеркнуть слово. Люди вербальной культуры — они такие.

Если говорить о Ленине не как о писателе, а как о создателе небывалого государства, вожде пролетариата и единственном революционере, у которого получи-

лось, — а его называли и так, и много как еще, — надо с самого начала сделать одну оговорку: на всей Земле, но в России особенно, весьма трудно разграничить — где кончается историческая воля конкретного лица и начинается закон истории, который подминает и раскатывает самого пассионарного лидера. Циклическая история России воспользовалась Лениным, хотя сначала он воспользовался ею; будем откровенны — в падении монархии его роль пренебрежимо мала, это сделалось без его участия, но он был первым, кто не побоялся взять ответственность за лавину. Действия Ленина отчасти напоминают тактику ИГИЛ, запрещенного в России и берущего на себя ответственность за все, что его радует или совпадает с его интересами. Ленин, правда, теоретически осуждал теракты, но в быту не мог сдерживать радости, когда ему о них сообщали. В целом деятельность Ленина сводилась к тому, что он писал; бюрократом он не был, пролетарским вождем был лишь в той степени, в какой умел находить общий язык с идейными рабочими (крестьяне ничего о нем не знали и, кажется, не понимали вовсе).

Когда у нас будет новая перестройка — а это неизбежно, и спорить можно лишь о том, в каком состоянии будет к этому времени страна и останутся ли в ней хоть какие-то ресурсы для серьезной полемики, — «долгую жизнь товарища Ленина придется писать и описывать заново». Тогда можно будет некоторые вещи называть вслух, не опасаясь получить ярлык русофоба или клеймо расстрельщика; тогда историческая истина будет устанавливаться по цитатам и документам, а не по указке начальства. Тогда, вероятно, станет более или менее ясно, что Ленин — подобно Петру, с которым он был типологически схож, — пытался сломать матрицу русской истории, но не преуспел и принялся истреблять население; у Петра был тот же грех. Россию многие пытаются переделать — и, обманываясь покорностью населения, сами не замечают, как увязают

в огромном, густонаселенном и по-своему прекрасном болоте; тогда они начинают это болото выжигать, но кончают тем, что погружаются в него и там консервируются. В болотах ведь мумифицируются трупы, это широко известный факт, и то, что после смерти случилось с Лениным, нагляднейшим образом иллюстрирует Божий замысел о России. Добавьте сюда и восковую персону Петра — не забальзамированный труп, хоть и точная копия оного. Ленин многое сделал для того, чтобы Россия выскочила из круга, — но круг оказался сильнее; большая часть птенцов ленинского гнезда разделила участь петровских соратников. Надежда победить этот цикл путем окончательного заболачивания территории и погружения всей фауны в летаргию сейчас тоже обречена, так что, по всей видимости, еще один круг мы пройдем; на этом этапе новая вспышка интереса к Ленину неизбежна, и биография работы Льва Данилкина — только первая ласточка. Вот тогда, когда дискуссия о советском и русском станет наконец возможна — и можно будет говорить об этой русской матрице без страха подпасть под очередную кампанию, — многое станет понятнее. Разумеется, для консерваторов, претендующих ныне на интеллектуальность, — русское лучше советского. Эти нынешние идеологи обожают именно ту Святую Русь, о которой говорил Блок, — «кондовую, избяную, толстозадую». Этот толстый зад особенно страстно воспевал — прямо-таки лобзал — Василий Розанов под псевдонимом «Варварин». Ленин все это ненавидел, и житель сегодняшней России может его понять; не может он понять другого — того, чем эта попытка закончилась. Оказалось, что никакая диктатура пролетариата не отменит русского движения по кругу и не сделает население гражданами. Просвещение тоже плохо помогает, хотя наследники Ильича — шестидесятники — и пытались паллиативными средствами преодолеть местную косность; Хрущев опять кончил тем, что начал взрывать

церкви и расстреливать рабочие протесты. Поиск нового пути — вечное ленинское «Мы пойдем другим путем» — остается насущной задачей новой русской жизни, которая неизбежно настанет после очередной и, кажется, последней реакции. Иногда мне кажется, что Россия не перестанет быть «такой», пока не перестанет быть Россией; бывают у меня и более оптимистические выводы.

Но все это мы сейчас проговариваем только для того, чтобы больше не возвращаться к дискуссиям о Ленине-политике, о его намерениях, о результатах Октябрьского переворота, который опять-таки многим кажется неизбежным следствием Февраля, и не Ленин тут принимал решение, а хронический русский сюжет, который людьми разыгрывается помимо их воли. Нас интересует более узкий вопрос: каким образом во главе этого самого революционного движения оказался именно публицист? Какими качествами этот публицист обладал, у кого учился — и какими приемами добивался того, чего сегодня не может достигнуть вся российская публицистика в диапазоне от матерых профессионалов до толстых троллей? Что он такого умел, что его читали — и верили? Сразу отметем большевистскую версию о том, что пламя возгорелось именно из «Искры»: на фоне эсеровской и тем более народнической прессы «Искра» и «Правда» были маргинальными листками, при всем таланте и самоотверженности их авторов и распространителей. Но Ленин обладал даром говорить и писать убедительно, пусть не всегда пользуясь для этого чистыми приемами. Со времен знаменитого первого номера ЛЕФа за 1924 год, где ОПОЯЗовцы разбирали ленинскую композицию и синтаксис, у нас толковых исследований на эту тему нет — прежде всего потому, что тексты Ленина перешли в разряд священных, а священные тексты в литературоведческих терминах не интерпретируются. Вот мы и сидим с его насквозь законспектированным 55-томником, совер-

шенно не понимая, как он все это делал — и повлияла ли вся эта титаническая работа на ход русской истории или была чистой макулатурой.

2

Рассмотрим сначала Ленина — литературного критика, ибо это самый простой и количественно небольшой разряд его текстов. Они не изучались, а заучивались наизусть — совсем другое дело. Между тем в его статьях «Памяти Герцена» и «Лев Толстой как зеркало русской революции» — самых замусоленных в школьной программе — содержатся вполне здравые выводы. Вообще Ленин до Октября — в качестве борца с российским абсолютизмом — бывал и остроумен, и точен, и верен истине. Разумеется, надо все время делать поправку на абсолютную, фанатичную верность Ленина историческому материализму, марксизму, как он его понимал, классовой теории и соответствующей морали, — это все один из модных изводов модернистской мысли, наряду с фрейдизмом, тоже претендующим на универсальность (многообразные попытки социальной интерпретации Дарвина — того же скучного типа). Если бы Ленин не рассматривал историю лишь как развитие производительных сил и производственных отношений, если бы он оценивал писателя не только по наличию у него либеральных, то есть эволюционистских, иллюзий и не хвалил только ортодоксальных материалистов, — может быть, и стиль его был бы гибче, и лексика разнообразней; но он упрямо долбит в одну точку. Это выдает в нем эпилептоидный склад психики (и публикации о его эпилептических припадках периодически возникают, но не станем впадать в вульгарный биологизм, который ничем не лучше марксизма). Сильные стороны Ленина-публициста (и критика) — хлесткость, определенность, фольклорная мнемоничность формулировок; они ушли

в речь не только потому, что навязывались, но и потому, что запоминались. Краска стыда у иудушки Троцкого; срывание всех и всяческих масок, например с Толстого — я не ем больше мяса и питаюсь рисовыми котлетками, помещик, юродствующий во Христе; Герцен спас честь русской демократии; детская болезнь левизны — и заголовки сильные, газетные, настоящие, и определения прилипающие; его клички вообще приклеивались — «каменная задница» применительно к Молотову, «броненосец Легкомысленный» (о Луначарском), «любимец партии» (о Бухарине)... В огромной степени лексикон советского агитпропа был именно лексиконом Ленина. Слабость Ленина как критика и публициста — сектантская узость мировоззрения и проистекающая отсюда страсть к повторам, назойливым, настырным, как прибор. Он одну и ту же мысль — иногда сложную, иногда нехитрую — талмудически талдычит так, чтобы и в самого тупого слушателя она въелась навеки, но ведь на слушателя действует не повтор, а разнообразие. Его учителя — в первую очередь Герцен и Писарев (слава богу, не Чернышевский, которого он безмерно ценил как теоретика, но вовсе не воспринимал как стилиста). Герценовская желчная насмешливость, порой на грани фола, была им усвоена отлично — «Колокол» он знал наизусть, и не зря, кстати, Семен Афанасьевич Венгеров заставлял своих студентов прочитывать его от корки до корки («Как, я вас при университете оставляю, а вы не весь “Колокол” читали?!»). От Писарева была у него не только ядовитая насмешливость, не только привычка к насмешливому пересказу чужих аргументов, не только отличный вкус (входящий иногда в противоречие с собственной догмой), — но и обаятельная манера прямого высказывания. «Бьет сразу, как петух по зерну», по определению того же Горького, приписанному прогрессивным рабочим; Ленин выходит на тему без долгих предисловий, без обычного российского многословия. А откуда это многословие? Не потому

оно так вязко и пространно, что у людей много свободного времени, и не потому, как полагает Мария Розанова, что сам русский пейзаж и территориальное обилие располагают к вязкому плетению словес, — а потому, что человек не решается высказать главное, обходит его бесконечными экивоками. Ленину же бояться нечего, речь нужна для того, чтобы ее понимали. Однажды его брат Дмитрий Ульянов раздобыл пишущую машинку. Ильич принялся стучать по ней с бешеной скоростью и бешеными же ошибками. Брат посоветовал работать медленнее, но вдумчивее. Машинка нужна для скорости, отрезал Ленин, медленно я и от руки могу! Речь должна быть прямой и быстрой. Он и так всю жизнь ходил под дамокловым мечом, а большую часть активной жизни вообще провел в эмиграции — поэтому ему некогда рассусоливать: хочет назвать народ рабом — запросто. Либералы — подлецы, царская семья — палачи, соглашатели — предатели, патриоты — пособники убийц, националисты — адвокаты насилия и враги рабочих, черносотенцы — мерзавцы, народники — трусы... Кажется ему великорусский шовинизм архаическим и ксенофобским по сути учением — так он и пишет в замечательной статье «О национальной гордости великороссов», и прилетает не только великороссам, а всей Европе, отравленной ядом национализма (именно так затормозили модерн — чем, кроме войны, его остано-вишь?). Вслушайтесь в эту речь — ну просто же музыка, и что ни слово — то в сегодняшние мишени: «Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: “жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы”. Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее

мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед попами, царями, помещиками и капиталистами.

Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое (когда помещики-дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет удушение Польши, Украины и т. д. «защитой отечества» великороссов), такой раб есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуёв и хам».

А? Кто так чеканил, так трубил? Пожалуй, только Белинский в подцензурном письме к Гоголю, — но это ведь и не было рассчитано на публикацию. Ленин пишет без всякой цензуры — в том числе внутренней; и пишет правду.

3

Но одной правды недостаточно — этим никого не разбудишь и не удивишь; Ленин обладает другим важнейшим качеством публициста, а именно азартом. В «Государстве и революции» прямо сказано — при-

ятней делать революцию, чем о ней теоретизировать; вот эта свежесть, кислород, восторг построения нового мира, — это он привнес, это клокочет и пузырится в его текстах первых лет революции, времен так называемого (им же называемого) «триумфального шествия советской власти». Советская власть не состояла из репрессий, как жаждут нам доказать сегодняшние противники любых сдвигов и модернизаций; советская власть в свои первые годы была временем живого творчества масс. И это творчество не всегда сводилось к расстрелам, а равно и к изобретательным взаимным терзательствам, которые так живо описал Горький в статье 1922 года «О русском крестьянстве». Это не всегда был абсурд вроде обобществления жен или упразднения зимы, каковые гримасы революции во множестве описаны тогдашними реалистами-бытовиками. Нет, это время, когда после нескольких веков абсолютной забитости народ ощутил себя хозяином страны, увидел грандиозные перспективы, и хотя в очередной раз обманулся — но обманул его не Ленин. Ленин по природе своей менее всего садист, более всего прагматик, и восхищали его в то время не жестокости и радикализм Гражданской войны, а творчество и самоорганизация: ее-то он и называл «Великим почином». Люди, которые сами взялись за дело и не хотят никакого начальства, — вот его идеал.

«Великий почин», конечно, написан уже в стиле позднего Ленина, без иронии, с довольно однообразной руганью в адрес «Третьего, желтого, интернационала», но в нем временами чувствуется воздух 1919 года — воздух ослепительной новизны. Да, диктатура пролетариата — которую Ленин полагал не только и не столько насилием, но прежде всего победой нового сознания, — оказалась в конце концов лишь новым названием репрессивной практики; да, как он и предсказывал, старое оказалось сильней нового (не навсегда, конечно). Но вертикальная мобильность, которую он обеспечил, не

пропала, и культурный взлет СССР в шестидесятые-семидесятые был эхом двадцатых, как оттепели Екатерины и Александра были отдаленным, но несомненным эхом Петра. Последствия революций оцениваются не через десять и не через двадцать лет — и эхо девяностых, которые были во многом отвратительны, у нас еще впереди. И это будет хорошее эхо, хотя это было противное время.

Ленин ценен — рифма Маяковского — именно этим азартом исторического делания: полемики, драчки, как он это называл, но и созидания тоже. Он удивительно умел заряжать и заражать своей энергией, пусть грубой и несколько однообразной, отчаявшихся товарищей: в ссылке цены ему не было (хотя атмосферу ссылок и эмиграции он ненавидел). Ленин мог покойника поднять с одра — такой заряд бешеной активности в нем сидел, в его текстах это чувствуется: там много скучных споров с малозначительными людьми, много унылого догматизма, но, помимо всего этого, там есть ослепительная вера в человеческие возможности, понимание реализуемости любых задач. Он любил пролетариат, а не презирал его, обращался к народу без высокомерия, без тени снисходительности — он в самом деле не испытывал презрения к массе, единственный из всех руководителей России за многие годы. И народ это чувствовал, откликаясь ему такой любовью, какой никто из российских руководителей не знал ни при жизни, ни после смерти. Это не было экстатическое обожание, как в случае Сталина, и не насмешливая свойскость, с какой говорили о Хрущеве; нет, это была единственная в своем роде любовь без раболепия, любовь, на какую способны товарищи, а не рабы. И стиль его работ — простых без упрощения, не сулящих ни малейших благ, а только трудную, героическую, первопроходческую работу без всяких скидок — тоже радикально отличается от стилистики вождистских писаний.

Сталин вещает, его повторы — убаюкивающие мантры жреца. Особенно выразительным оказывается сравнение с Гитлером: вот уж кто в своем унылом и надрытом романе воспитания «Майн кампф», который мне пришлось как-то рецензировать по заданию «Московских новостей», — занимается, по ленинскому определению, пустейшей трескотней! Ничего от ленинской ясности и деловитости, сплошь апелляция к архаике, к магизму, к темным глубинам подсознания. Ленин — явление модерна, холодного, ясного, рационального; Гитлер — весь антимодерн, слащавая, слюнявая, кровавая эклектика. Тем, кто уравнивает Ленина с фюрером, почитать бы внимательно их труды, — но такие люди обычно начисто лишены стилистического чутья.

Я не оправдываю Ленина и вообще не выставляю ему оценок; я говорю о единственном удачном опыте политической публицистики в России. Ленин сумел найти слова и приемы, которые заставили людей поверить не в него, а в себя. Это опыт бесценный, и нам еще предстоит открывать его заново.

4

Конечно, он ни минуты не был художником — даже в смысле живого творчества революционных масс, — и напрасно Мариэтта Шагинян пыталась увидеть художественные черты в его «Рассказе о II съезде РСДРП» («Ленин написал рассказ»). Он ужасно скучно, вникая в мелочи, описывал все партийные склоки, он сутяжничал, мелочился, придирался — все это вовсе не делает ему чести; но таковы не все его работы, а лишь сугубо партийные. Обращаясь к широкому читателю или — чаще — слушателю, он всегда увлекателен, ясен, доступен и азартен.

Что до его собственно художественных вкусов, они были как раз довольно примитивны. Своя своих не

познаша. Модернист в жизни, он был решительным противником и упертым непонимателем модерна в литературе; ему совершенно чужд был футуризм, хоть он и собирался к нему присмотреться после посещения коммуны ВХУТЕМАСа; он говорил Кларе Цеткин, что «мы, старики» — хотя она была старше 23 годами, — не рождены для нового искусства; он пришел бы в ужас или негодование (или вместе), покажи ему кто-нибудь «Двенадцать» Блока, и опять сказал бы что-нибудь про отвратительность всякого боженьки, и из всей русской прозы двадцатых годов ему был бы понятен один Зоценко, которого он, пожалуй, даже похвалил бы за готовность пересказать массам мировую историю их органичным языком. Он любил Чехова — его «Палата № 6» вызвала у него приступ клаустрофобии, которой и сам Чехов был одержим; Горького он большим художником не считал, для удовольствия не перечитывал, «Мать» считал своевременной книгой, не более, а с постановки «На дне» в МХТ ушел. Это не мешало ему содержать всю партию с 1903-го по 1905 год на доходы от одних только немецких постановок «На дне». Впрочем, вся численность этой партии тогда не превышала 5 тысяч человек (год спустя, на пике революции, — в девять раз больше, а еще год спустя, в начале реакции, — вдвое меньше против этого рекорда).

Ленин любил Тургенева, Чернышевского (прежде всего прозу, где излагалась в том числе близкая ему семейная утопия), Толстого — то есть далек был от писаревского презрения ко всякой «эстетике»; самыми цитируемыми авторами в его обиходе были Некрасов и Салтыков-Щедрин, и обоим это повредило, поскольку их стали пропагандировать и навязывать, а опять-таки не изучать; он честно признавал свою некомпетентность в эстетических вопросах и, вопреки штампам, не навязывал собственной линии в искусстве. Умение понимать пределы своей компетенции — еще одна его черта, без которой настоящая власть никогда не обой-

дется, если только эта власть когда-нибудь в России осуществится. Он, пожалуй, вообще не слишком ценил человеческое — волновали его только интересы дела; в жизни такой человек невыносим, но на великих исторических переломах незаменим.

А вот к самому себе он относился без восторга, что для диктатора, пожалуй, даже и неплохо. Как всякий материалист, он воспринимал человека лишь как горсть праха. Все физиологическое его сильно отвращало, он стеснялся этого. «Рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса» («Пророческие слова», 1918). Думаю, его модернизм, сосредоточенность на интересах дела, кажущаяся бесчеловечность (хотя человечность в нем была, по крайней мере пока он был в здравом уме) — в основе своей имеет именно брезгливость относительно физиологии, маяковскую ненависть к быту, омерзение к роскоши. Все, что смертно, ему неинтересно. Ни своей, ни чужой смерти он не склонен придавать значения. Революция для него — блестяще решенная математическая задача; красота — только в безжизненном, и Толстой, думаю, был ему близок поздней аскезой, старческой ненавистью к размножению. Говорят, он хотел детей. Какие дети, что вы?! Улыбнуться чужим — это он мог, создать среди них организацию «общество чистых тарелок» — запросто. Но лечить, баюкать, просто взять на руки? Он был в этом поразительно беспомощен, неловок, неумел.

5

Я прекрасно понимаю, сколько негодования вызовет этот текст при всей его нейтральности. Любая попытка проанализировать его стилистику чревата сегодня долгой и бессмысленной дискуссией раздраженных и не-

компетентных людей, где фейки побиваются фейками, а гроссмейстером полемики считается тот, кто лучше всех передергивает. Но давайте признаемся по крайней мере в одном: никаких перемен в России не будет, пока ее публицисты — и, шире, литераторы — не научатся говорить ясно и решительно, выражать свою мысль прямо и энергично, пока они будут бояться прикоснуться к главным вопросам собственной жизни. Ленин первым научился писать так, чтобы его одни любили, другие ненавидели, но все понимали; так, чтобы не оставлять равнодушных; так, чтобы главной его опорой была не казарма, не армия, не бюрократия, а вот то самое молчаливое большинство. Он научил эту массу прямой и свободной речи, а все остальные положили жизни на то, чтобы отнять у них язык и, что важней, желание разговаривать.

Его речи были монотонны, ораторские жесты — однообразны, повторы — утомительны. Но он верил, что его страна может быть другой, любил ее народ и ее культуру, верил в свое дело и имел четкие понятия о тех вещах, которыми непосредственно занимался.

Очень может быть, что это скудный набор, — недостаточный, но необходимый.